

гимназии, вспоминает, как он вместе с такими же сорванцами, по наущению одноклассника Волошина – Володи Макарова, хромого от рождения и, очевидно, в какой-то степени психически неуравновешенного, подкарауливали толстого и неповоротливого гимназиста, щипали его за мягкие места и разбегались. Повадки «злых детей» вскоре были Волошиным изучены, и последовали ответные действия. Сергей Иванов вспоминал: «...не успел я ущипнуть его как следует, как он быстро повернулся и дал ладонью такого тумака, что я растянулся на земле. Я помню только склонённые надо мной большие круглые добродушные глаза и просьбу оставить его в дальнейшем в покое». Возможно, это был единственный случай «противления злу насилием» со стороны Макса Волошина; отношения же его с Сергеем Ивановым останутся вполне дружескими, как и с тем же Владимиром Макаровым.

17 марта 1893 года Волошин записал в дневнике: «Сегодня великий день. Сегодня решилось, что мы едем в Крым, в Феодосию, и будем там жить. Едем навсегда!.. Прощай, Москва! Теперь на юг, на юг! На этот светлый, вечно юный, вечно цветущий, прекрасный, чудесный юг!» Начинается новая, «киммерийская», эра в жизни и творчестве Максимилиана Волошина.

СТРАНА СИНИХ СКАЛ

С тех пор как отроком у молчаливых
Торжественно-пустынных берегов
Очнулся я – душа моя разъялась,
И мысль росла, лепилась и ваялась
По складкам гор, по выгибам холмов...

Как в раковине малой – Океана...

Итак, 3 июня 1893 года сбывается мечта Макса о юге: вместе с Еленой Оттобальдовой он отбывает в Коктебель. Решение это, по-видимому, было вызвано дороговизной жизни в Москве, а тут ещё подвернулся случай – продажа относительно дешёвых участков земли. Павел Павлович Теш «покупает пополам с мамой у профессора Юнга» 20 десятин, пишет в своём дневнике Макс. Настоящее «маленькое имение. Всего в версте от моря... Горы от нашей земли всего в верстах четырёх или пяти... Там самые лучшие камушки, какие только есть на всём... побережье Крыма... Что касается купанья, то лучшего и желать нельзя».

История этих мест уходит в седую древность. Ещё античный географ Страбон (63 г. до н. э. – 23 г. н. э.) в IV главе VII книги своей «Географии» упоминает «таврическое побережье длиной около тысячи стадий. Побережье это каменистое, гористое и подвержено сильным бурям с севера... В гористой области тавров есть также гора Трапезунт (Столовая), одноимённая городу, расположенному поблизости от Тибарании и Колхиды. Вблизи этой же гористой области есть и другая гора Киммерий... За упомянутой гористой областью лежит город Феодосия. Город занимает плодородную равнину и обладает гаванью, могущей вместить сто кораблей. Этот (залив) прежде был границей между землями боспорян и тавров». Комментируя этот текст, историк и краевед А. К. Шапошников отмечает «факт прохождения границы между владениями боспорян и землёй тавров. Археологические исследования в округе Коктебеля выявили два пограничных боспорских укрепления (городища) – Биюк-Енишарское, контролировавшее Узун-Сыртский перевал, и Сары-Каинское, охранявшее древний тракт, переходивший из урочища Ак-Мелез через седловину Сары-Каи в балку Янтык... Арриан в своей лоции Чёрного моря, которую он составил около 131–137 гг. н. э., сообщает о непосредственной округе Коктебеля... Тридцать километров каботажного плавания от Феодосии приводят к Кара-Дагу, в зависимости от характера маршрута либо к устью Кордонной балки, либо Карадагской балки. В любом случае, это – древнейшее конкретное упоминание местности близ Коктебеля» («Коктебель.

Исторические названия окрестностей»).

Об истории этого края немало напишет и сам Волошин, но эта тема впереди. Отметим лишь, что в конце XIX столетия по соседству с Коктебельской долиной была забытая Богом болгарская деревушка, места вокруг пустынные и почти что безлюдные. В 1880-е годы обрёл здесь пристанище известный врач-окулист и путешественник Эдуард Андреевич Юнге. Он скупил значительную часть долины, намереваясь благоустроить и обиходить эти места, но, видимо, не хватило средств. Пришлось распродавать землю по частям; один из участков и приобрели Е. О. Волошина с П. П. Тешем.

Постепенно долина заполнится дачниками, среди которых будет немало творческой интеллигенции: дочь известного историка и сестра философа, поэтесса П. С. Соловьёва (Allegro), детская писательница Н. И. Манасеина, оперный певец В. И. Касторский; позднее, уже в 1912 году, здесь снимет дачу К. А. Тренёв. Художественная колония распространится и за пределы Коктебеля: в Феодосии будут жить художник К. Ф. Богаевский, в Судакe – сёстры Аделаида и Евгения Герцык, композитор А. А. Спендиаров.

Ну а пока что, 6 июня 1893 года, мать и сын прибывают на станцию Сарыголь, оттуда на извозчике отправляются в Феодосию. «Весь воздух был напоён запахом цветущих акаций», – вспоминает Волошин. Он заранее настроен восторженно, так что «этот по существу убогий вид Феодосии, с низкими и пологими холмами, показался мне грандиозным и блестящим». Впрочем, на первых порах юноша не увидел того «юга», который существовал в его воображении. Как писал Волошин впоследствии, он искал в Коктебеле «общих мест», их же тут было необычайно мало. «Первое лето я видел только скупость и скудость природы и красок. А их необыкновенная выразительность и элегантность для меня оставались недоступными. Понадобились долгие годы моей юности, посвящённые искусству и странствиям, чтобы открыть оригинальность и красоту Коктебеля».

Павел Павлович Теш, ставший гражданским мужем Елены Оттобальдовны, приехал на место раньше Волошиных и, встретив их в Феодосии «на тряской и очень неудобной телеге», сопровождал к новому месту жительства. «Впечатления дороги меня не пленили», – вспоминает Макс. Столовались новоявленные крымчане «в двух хатках, принадлежащих Юнге, окружённые всеми домашними животными, которых приобрёл П. П. Теш, заводя здесь своё хозяйство».

Приходили коровы и, отстранив нас ударом рогов, жевали хлеб со стола. Петухи и куры налетали на нас и выклёвывали из рук куски. Лошади тянулись к солонкам, а поросёнок так сжился с собакой, что принимал её манеры и кидался на проходящих. Хозяйство Теша напоминало не то хозяйство дальнего Запада по романам Брет Гарта, не то хозяйство Ноя, только что вылезшего из ковчега на склонах Арарата после потопа». Первоначальное обиталище Теша – Волошиных не сохранилось. Осталось лишь место на холме, именуемое сегодня «горкой Теша».

Постепенно всё становится на свои места.

Тут хорошо. Спокойно, безучастно,
Без бури и тревог тут жизнь моя течёт,
Тут воздух вечно чист, тут небо вечно ясно,
И море синее волной не шелохнёт.
Тут в красоте своей спокойны вечно горы,
И даль синее, вся прозрачна и ясна,
И всё кругом так чудно нежит взоры,
И жизнь тут так дивно хороша.

Завороженный горными вершинами Карадага, Макс поднимается на Святую гору, как полагают, ту самую, где когда-то в древности почитали бога врачевания Асклепия. Совместно с Тешем, «человеком европейски образованным», Волошин исследует окрестности, заполняя время беседой, взбирается на все окружающие долину возвышенности

и попадает в романтическое приключение: вместе с Тешем вызволяет лошадей, украденных цыганами.

Коктебель в переводе с тюркского – «страна синих скал». Волошин вскоре назовёт её «родиной духа». А пока что он вживается в дивную, хоть и суровую атмосферу этих мест, что сразу находит отражение в стихах:

Солнце жаром палит,
Раскаляя гранит,
И ни облачка на небосклоне.
Все деревья стоят,
И листья не шуршат,
И не движется ветер на воле.
Тихо плещет волна,
Будто неги полна,
И гуляет себе на просторе,
И без меры в длину,
Без конца в ширину
Расстилается Чёрное море.

Упомянув это стихотворение в своей книге «Судьба поэта», И. Т. Куприянов высказывает предположение, что оно, быть может, первая поэтическая зарисовка Восточного Крыма. Во всяком случае, это уже не ученические упражнения в стихах. Литературный почерк молодого поэта становится более уверенным, слог – чётким и пластичным. В стихах того же периода уже ощущается умение Волошина передавать настроение через пейзаж, через одухотворение природы:

Тихо всё. Стоят чинары
В надвигающейся мгле.
Зажигаются стожары
В поднебесной вышине.
На вершине Четыр-Дага
Солнца луч ещё горит,
А внизу – на дне оврага
Ручеёк во мгле журчит.
Море тихо, и волною
Ветерок не шелохнёт.
Из аула над горою
Говор смешанный идёт.

Первым из напечатанных стихотворений о Крыме принято считать то, которое начинается строками:

Зелёный вал отпрянул и пугливо
Умчался вдаль, весь пурпуром горя...

Оно датировано 1904 годом. Но от этого маленького шедевра Волошина отделяло ещё десять лет, посвящённых учёбе в гимназии, университете, а также – странствиям по Европе...

А пока надо было продолжать своё образование и в очередной раз менять учебное заведение. Макс поступает в пятый класс феодосийской казённой гимназии. Обстановка там по сравнению с Москвой, гимназией московской, кажется не такой уж затхлой. О престиже заведения и качестве преподавания заботился директор гимназии, литератор и краевед,

Василий Ксенофонт Виноградов, пользующийся большим уважением и среди феодосийской интеллигенции, и среди своих питомцев.

Итак, в конце августа 1893 года в феодосийской гимназии стало одним учеником больше, а город пополнился ещё одним чудаком. На голове у этого чудака-гимназиста красовалась летняя парусиновая фуражка с непомерно большим козырьком и довольно высокой тульей. Среди однообразных гимназических фуражек эта, сшитая на индивидуальный вкус, не могла не привлекать всеобщего внимания. Ещё больше бросалось в глаза поведение юноши: шагая по улице, он беспрестанно бормотал себе под нос стихи, подчёркивая ритм плавным движением руки. Оригиналом в «белом колпаке» был не кто иной, как Макс Волошин, чьё бормотание стихов вкупе с головным убором, изобретённым Еленой Оттобальдовной, «дало общий тон отношения» к нему феодосийцев: «оригинальничанье». Впрочем, у Макса был для этого повод: «Мои стихи и моя начитанность произвели в педагогической среде такое впечатление, что ко мне стали педагоги относиться как к „будущему Пушкину“».

Ну а что же тогда представлял собой «богоспасаемый» «древний град», столь часто впоследствии воспеваемый поэтом?.. Волошин «застал Феодосию крохотным городком, приютившимся в тени огромных генуэзских башен, ещё сохранивших собственные имена – Джулиана, Климентина, Констанца... на берегу великолепной дуги широкого залива... В городе ещё оставались генуэзские фамилии... Тротуары Итальянской улицы шли аркадами, как в Падуе и в Пизе, в порту слышался итальянский говор и попадались итальянские вывески кабачков. За городом начинались холмы, размытые, облезлые, без признака развалин, но насыщенные какою-то большою исторической тоской». Поэт обращает внимание на фонтаны, «великолепные, мраморные»; их тридцать шесть, но они «без воды» – пресную воду привозили на пароходах из Ялты. Макс делает внешние зарисовки. Словом. Однако «рентгеновский луч» сознания уже направлен в глубь себя, в душу. Дневник – его постоянный спутник, но честен ли он с ним? И вырывается неожиданное: «...ложь, ложь, ложь! Я писал ведь его, собственно, не для себя, а чтобы его прочитали другие... Теперь я пишу для того, чтобы научиться хоть самому себе правду говорить...» О чём? Да конечно же о своём призвании: «...могу ли я быть писателем?.. У меня стихи выходят лучше, чем у всех товарищей московских, но что ж из этого. Вот уж больше полугола прошло, а я ещё не написал ни одного стихотворения... Страшно! Если я не буду писателем, то чем же я буду?» Какая внутренняя драматургия! Какой откровенный вызов собственной душе!..

Между тем жизнь берёт своё, что-то упрощая, что-то сглаживая. Завязываются новые знакомства. Например, с Владимиром Алкалаевым, сыном богатых херсонских помещиков. Макса умиляет то, что отец Володи «выписывал громадное количество книг и журналов и целый день проводил в их разрезании». Наверное, время от времени и читал. Впрочем, что гораздо важнее, семья эта была хлебосольная, и в доме вращалось немало педагогов. Волошин замечает, что на его пути попадаются неглупые, эрудированные люди. Феодосия – многонациональный город. Там, что характерно, «много евреев, и так как они все были значительно образованнее, чем другие гимназисты из „восточных людей“ – караимы, армяне, греки – довольно тупые, то они мне показались и симпатичными и интересными». Как относиться к этому высказыванию? Не делать далеко идущих выводов и правильно понять Волошина. Уже тогда он воспринимал человека как самоценную единицу; его достоинства – ум, обаяние – не связывал ни с классовой, ни с расовой принадлежностью.

Однако Макс пока ещё не учёный-аналитик, не философ, не психолог. Он юн и, естественно, влюблён; как и прежде, окрылён стихами. Пишет стихи его подруга, гимназистка Ольга Яшерова. Они часто бывают вместе, гуляют по бульварам. А бульвар в Феодосии, надо сказать, не то что в Москве. Здесь он – истинное, а быть может, и единственное развлечение молодёжи – гимназисток и гимназистов. «Мне он очень понравился, и в мои гимназические годы я всегда ходил гулять на Итальянскую и на бульвар. В то время он был ещё на берегу моря. Летом по вечерам здесь нередко играла музыка». А роман тем временем продолжается. Он и она обмениваются стихами. Директор Виноградов

обеспокоен. Начальница женской гимназии – тоже: нравственность под угрозой. «Слухи о наших стихах и детской влюблённости стали сказкой всего города. Я ничего не имел против. Оля, очевидно, тоже. Ничего, переходящего запретные грани, у нас не было... У меня в те годы ещё совсем не было чувственности (о чувственности – в быту и в теории – речь ещё впереди. – С. П.)». И далее – отход романтической волны: «Она была некрасива. У неё был тяжёлый подбородок, как сношенный башмак. Вислый рот. Запах „парфюмерии“. Почему-то вспоминаются её чулки и башмаки». Вот так. Такая вот проза. Конечно, это ещё не любовь. Но каков трезвый, наблюдательный художник: вислый рот, чулки, башмаки. Зато стихи пишет, а чего ещё надо? Да, отношения с женщинами у Макса Волошина будут складываться заковыристо, неоднозначно. А что же Олечка Яшерева? В одном из стихотворений, посвящённых М. А. Кириенко-Волошину, она вопрошает: «Зачем, зачем Вы написали, что сильно любите меня? Как плакали Вы на бульваре, когда не приходила я?» Попробуй тут разберись...

Вообще же, в 1893–1894 годах в жизни Волошина происходит ряд интересных встреч и знакомств, оказавших существенное влияние на его судьбу. Среди новых товарищей Макса оказывается Александр Матвеевич Пешковский, в будущем – крупный учёный-лингвист, а тогда – хрупкий подросток с тёмными выразительными глазами, начитанный, любознательный, круг интересов которого был близок Волошину.

Как и в любом учебном заведении, преподавательский состав был неровным по своему интеллектуальному и профессиональному уровню. Гимназисты типа Волошина и Пешковского были в этом отношении своего рода лакмусовой бумажкой. Высказывания Макса, его дерзкие по мысли сочинения одних приводили в отчаяние, других – в негодование, третьих – в восторг. К последним принадлежал Юрий Андреевич Галабутский, учитель русской словесности, у которого с Волошиным установились самые дружеские отношения. Именно он «очень хвалил» стихи Макса и говорил, что из него выйдет поэт «большого размера».

Но ведь Волошин ещё и артист, чтец, декламатор чужих стихов, обожающий внимание публики. Во всяком случае, в юности он относится к этому очень трепетно. 5 декабря 1893 года на гимназическом вечере Макс выступает с чтением баллады А. К. Толстого «Чужое горе». Это был день его триумфа: «Аплодировали мне чрезвычайно. Вызывали меня четыре раза. Кричали, чтобы я читал свои стихи». А потом у триумфатора – «кадриль с поэтессой. Говорят, что на нас было обращено всеобщее внимание». Не важно – с кем. С Олей или другой девушкой. Важно – «с поэтессой», равной «по крови». И – чтобы «всеобщее внимание». Волошин – ещё юный, падкий на хвалу, немного капризный. Проходит четыре дня, и он уже – «в ссоре с поэтессой». Что же случилось? «Произошло это потому, что я во вторник не вышел на бульвар». Да и вообще: «Госка последнее время страшная. Жду не дождусь, пока наконец домой не поеду в Коктебель. Я целых полтора месяца дома не был». Надо же... Размяк, мальчишка ещё; поэт, который с юношеским максимализмом выводит:

Я буду всю жизнь сражаться тогда
За правду, любовь и свободу,
За верность отчизне, за честность труда,
За счастье родного народа!

Наивно? Смешно? А ведь за каждое слово этого полудетского четверостишия Максимилиан Волошин расплатится своей судьбой...

В начале 1894 года поэт-гимназист живёт на квартире у лютеранского пастора на склоне горы Митридат в Феодосии. Комнатка небольшая, стены очень толстые, сам домик ветхий, зато возвышается над всем городом. Опять же – поэту на руку. Просыпаясь утром, он чувствует себя «висящим в пространстве. Внизу был город и порт с входящими туда пароходами. Жизнь была скучная, однообразная, но зато уединённая. За это и за вид, раскрывавшийся из моего фонаря, я полюбил свою комнату и радовался тому, что не живу

больше на ученической квартире с дылдами и усачами, какими были все мои феодосийские товарищи». Начинается самостоятельная жизнь. Поэт бывает на вечерах, в частности у феодосийского адвоката А. М. Воллк-Ланевского, танцует кадрили, угощается вином, к которому, в отличие от многих собратьев по перу, так и не пристрастится, ухаживает за дамами, на досуге размышляет о жизни и делает любопытные записи в дневнике, например такие: «Человек – это яйцо, в котором во время его существования всё более и более развивается новая жизнь – душа. Смерть есть тоже рождение духа, а не тела. Душа настолько же себя не сознаёт в первые моменты после смерти, как и человек не сознаёт себя во время рождения». Да, здесь уже угадывается Волошин, склонный к антропософским размышлениям, Волошин – автор стихотворений «Грот нимф», «Пещера», «Материнство»...

Весной 1894 года Макс Волошин знакомится с преподавателем феодосийской женской гимназии Александрой Михайловной Петровой, у родителей которой вместе с Пешковским снимает комнату. Александра Михайловна была знатоком истории и культуры Крыма, прекрасно разбиралась в народном прикладном искусстве, в частности татарском кустарном производстве, питала большой интерес к оккультным учениям, впоследствии стала членом Антропософского общества. Разумеется, всё это стимулировало привязанность, если не сказать влечение, к ней молодого поэта, всегда искавшего дружбы с личностями яркими, одарёнными. «Она оказалась моим очень верным спутником во всевозможных путях и перепутьях моих духовных исканий», – писал Волошин много лет спустя. Все эти годы, вплоть до смерти А. М. Петровой, он посылал ей свои произведения, письма (в архиве поэта хранится более ста семидесяти писем к Петровой и свыше ста пятидесяти её ответных посланий), очень дорожил её мнением и советами. «Каждый раз, как я получаю Ваши письма, я испытываю очень глубокое впечатление, – пишет Волошин Петровой 12 февраля 1901 года. – Ведь действительно: существуют во всём мире только два человека, которые присутствовали при первых слабых побегах моего духовного мира, – Вы и Пешковский, и вы оба можете понять каждый шаг, каждую новую ступень, в то время как для всякого другого, сделайся он ближайшим моим другом, я буду только величиной со многими неизвестными. Когда я получаю Ваши или его письма, меня каждый раз озаряет мысль, что об „этом“ или „так“ говорить я могу только с Вами и больше никогда ни с кем». Александре Михайловне Петровой Максимилиан Волошин посвятил свой цикл стихов «Звезда Польша», стихотворение «Святая Русь». Прямо скажем, программные произведения.

Между тем в пределах гимназии Макс Волошин превращается в знаменитость, его стихи имеют успех и, как отмечает сам поэт, он получает здесь «первую прививку литературной „славы“, оказавшейся впоследствии полезной во всех отношениях: возникает требовательность к себе». 18 сентября 1894 года умер директор гимназии В. К. Виноградов. На похоронах этого человека, который был не только умелым организатором, но и талантливым педагогом, помимо других, выступил и учащийся VI класса Максимилиан Волошин. Он прочитал своё стихотворение «Над могилой В. К. Виноградова», которое в следующем году было опубликовано Ю. А. Галабутским в сборнике «Памяти Василия Ксенофоновича Виноградова».

Печальное, лирическое, забавное... Все это сведено в одно русло жизни Макса Волошина-гимназиста. Юноша должен влюбляться, «крутить романы». А если их, по большому счёту, нет? Значит, надо инсценировать – какой же ты артист, с «чувством эстрады»? А тут ещё мама постоянно твердит: «Какой же ты поэт, если ни разу не был влюблён?» Кто знает? Послушаем ещё раз Волошина: «Вкуса к любви безнадежной и неразделённой у меня не было. Поэтому, когда я узнавал, что кто-нибудь из моих сверстниц мною интересуется, то торопился ответить им равносильным чувством». Правда, как его выразить – не знал. Вот и получалась незадача: «Нас познакомили, но она так конфузилась меня, а я её, что из нашего знакомства ничего не вышло. Тем более что я и не знал, что собственно мне нужно от неё добиваться». Отметим это признание. Оно припомнится, когда Макс Волошин вступит в интимно-драматическую фазу своей жизни, которая худо-бедно прокомментируется всякими-разными критиками, тугоухими на стихи, но имеющими

интерес к личной жизни поэта.

К счастью, среди товарищей Макса попадались и достойные, талантливые личности. К таковым можно отнести будущего писателя и переводчика Михаила Алексеевича Дьяконова, который в своих воспоминаниях запечатлел образ девятнадцатилетнего гимназиста Волошина. Он выделялся среди своих сверстников уже тем, что был «очень полный, но невысокий, с курчавыми волосами, более длинными, чем это разрешалось по гимназическим правилам». Но главным образом выделялся своей творческой одарённостью. Не случайно с ним считались «все учителя и даже сам директор, грозный и великолепный чех, Василий Фёдорович Гролих. И товарищи талантливого гимназиста, и учителя в один голос твердили, что это будущий стихотворец, поэт „Божией милостью“».

А поэт тем временем не забывал о своих эстрадно-театральных увлечениях. 2 февраля 1896 года в гимназической постановке «Ревизора» он исполняет роль Городничего. «Курьёзнее всего то, что по окончании спектакля со мной пожелал познакомиться феодосийский полицмейстер и горячо благодарил меня за то, что я так хорошо исполнил роль по его специальности». Этой актёрской работе сопутствовал несомненный успех, ведь и десятки лет спустя, по воспоминаниям Волошина, ему «доводилось встречать почтенных и апатичных феодосийцев – бывших любителей, когда-то пробовавших силы на сцене», которые упрекали его в том, что он не сделал театральные подмостки своим призванием.

Юноша-гимназист выступает и как режиссёр, в частности, поставивший «Разговоры дам» по произведениям Гоголя и инсценировавший «Бежин луг» Тургенева. «Он взялся за работу с большим рвением, – вспоминает тот же М. А. Дьяконов, – и я до сих пор помню, как мы часами декламировали и играли в полуосвещённом классе под руководством Максимилиана Александровича. Он изучал с нами каждое слово, каждую интонацию и положил немало труда, чтобы добиться успеха. И успех был! По словам зрителей... мы, мальчуганы, читали изумительно!.. Максимилиан Александрович всё время стоял за кулисами, подбадривая нас, пока мы были на сцене, и дирижировал группой восьмиклассников, изображавших собак...» Как видим, чувство юмора не изменяло Максиму и в его сценической деятельности.

Первенствовал Волошин и на художественном поприще. Это было особенно знаменательно – ведь попечителем гимназии был не кто иной, как великий художник-маринист Иван Константинович Айвазовский, который одобрительно отзывался о рисунках талантливого юноши. А уж как Максиму было приятно... С присущей ему «трепетной обстоятельностью» начинающий художник заплёбывается в словах: «Феодосия отмечена в летописях русского искусства как город Айвазовского... Здесь не было ни одного дома, в котором не висело бы одного или нескольких этюдов или картин Айвазовского... Авторитет искусства был утверждён Айвазовским в сердцах феодосийцев во всей славе его земного блеска». Макс славословит и хулиганит. Дело в том, что он предаётся рисованию не только в свободное от учёбы время. Оно, как и поэзия, нередко становилось реакцией на серые и скучные уроки, в частности Закона Божьего, когда Волошин делал наброски своих однокашников, учителей, сочинял экспромты.

В целом поэзия Волошина 1890-х годов представляет собой поток довольно-таки умелых импровизаций на мотивы русской классики XIX века. Вот «лермонтовское»:

Люблю вечернею порою.
Когда с болот встаёт туман,
Сидеть над спящею рекою,
Глядеть, как в небе надо мною
Несётся тучек караван.
Как, ярким пурпуром блистая,
В последних солнечных лучах
Несётся цепь их золотая,
На горизонте пропадая.

Кругом нисходит ночи мрак.
Замолкли птицы. Всё безмолвно.
Царит ночная тишина,
Какой-то неги будто полна.
Свои задумчивые волны
Струит заснувшая река.
Покрыто всё серебристой мглою.
Стоит в тумане тёмный лес.
Кричит вдали сова порою,
И над спокойною рекою
Сияет месяц средь небес.

Вот «некрасовское», проникнутое мыслью о притесняемом многострадальном народе:

Песня могучая, песня народная!
В чём твоя сила великая?
Сила поэзии, сила свободная,
Мощь необузданно-дикая?
Где ты находишь огонь вдохновения?
В битве ли с Божьими грозами?
В жизненной ль школе труда и терпения,
Вечно стоящих угрозами?
Или сама эта сила могучая
Входит в сердца неизвестных избранников
И выливается громом созвучия
И утешеньем несчастных изгнанников,
Нищих, скорбящих, терпящих насилия?
Что эта сила стихийно-свободная?
Ум пред тобой сознаётся в бессилии,
Песня могучая, песня народная.

Не слышится ли здесь, за некрасовскими интонациями, излюбленный мотив «изгнанников, скитальцев и поэтов», который зазвучит в поэзии Волошина конца 1900-х годов?.. В другом стихотворении – словно бы подслушанный призыв к потомкам поэтов некрасовской школы:

Выйди, писатель, на поприще жизни,
Сей просвещение любви и добра.
Верь, ты послужишь на пользу отчизне,
Честно посеяв свои семена...

А вот юный, шестнадцатилетний Надсон в переложении младшего собрата Волошина, которому в момент написания стихотворения было примерно столько же:

...Вперёд! Вперёд! Долой сомненья!
Долой отставших ряд идей!
Мы будем сеять просвещение,
Возбудим силу и движенье
В среде замолкнувшей своей!..

Одно из стихотворений Волошина юношеского периода озаглавлено «На смерть Надсона».

Однако едва ли кто-нибудь из поэтов старой школы оказал на формирующегося поэта решающее влияние. Символисты только-только начали заявлять о себе. В 1893 году (Волошин как раз перешёл в феодосийскую гимназию) в печати появилась прочитанная ранее Дмитрием Сергеевичем Мережковским программная лекция «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», значительно раздвинувшая представления о том, какой должна быть новая поэзия. Однако её идеи ещё не получили широкого распространения; к тому же Феодосия находилась в стороне от литературных центров России.

Волошин встречается в Коктебеле с сыном профессора Сергеем Юнге, познакомившим его со стихами своей двоюродной сестры Ани Барыковой, заслушивается рассказами о самом Эдуарде Юнге, прошедшем пешком в одежде бедуина от Каира до Марокко, исцеляя при этом сотни больных трахомой и катарактой.

В художественном и познавательном плане очень благоприятным для поэта было общение с известным пейзажистом Николаем Васильевичем Досекиным. С его семьёй Макс познакомился ещё до отъезда в Коктебель: три месяца Досекины жили в московской квартире Волошиных. Н. В. Досекин был хорошо знаком с философом Владимиром Соловьёвым, который, правда, дома у него не бывал, зато приходили некоторые из журналистов, сотрудничавших в «Московских ведомостях», близких к кругам писателя-философа Константина Леонтьева. У Досекина гостил его младший брат Сергей, тоже талантливый художник. В 1896 году, во время рождественского визита Волошина в Москву, он «встретился у Досекина с молодым человеком, с тонкими усиками и курчавой бородкой, который рассказывал о своём путешествии на север России». А ещё – увлечённо и «очень пластично» – о готовящейся постановке оперы Римского-Корсакова «Садко». Это был молодой живописец Константин Коровин. По вечерам, вспоминает Волошин, в компании Досекина «шли бесконечные разговоры и чтение „Вечерних огней“ Фета».

В тот же приезд в Москву юноша знакомится с Екатериной Фёдоровной Юнге, двоюродной сестрой Л. Н. Толстого, женой «открывателя Коктебеля» профессора Э. А. Юнге, младшей дочерью Фёдора Петровича Толстого, «председателя последних масонских лож», художника, скульптора, бывшего когда-то вице-президентом Академии художеств. Екатерина Фёдоровна была человеком талантливым и разносторонним. «С детства перед её глазами в доме отца проходила вся русская общественность – начиная с Пушкина и кончая Костомарова, Меем, Майковым и т. д.». Судя по всему, Екатерина Фёдоровна была неплохой художницей; не обделила её природа и литературным даром – остались воспоминания об отце, его либеральном салоне в эпоху царствования Александра II. Она хорошо помнила Тараса Шевченко в период его ссылки и была свидетельницей встречи украинского поэта с негритянским актёром А. Ф. Олдриджем в доме её отца. Зная английский, Е. Ф. Юнге выступала в этом общении посредником; бывший крепостной Шевченко писал портрет бывшего раба Олдриджа (выставленный впоследствии в Третьяковской галерее), а по окончании сеансов украинец пел малороссийские народные песни, американец – танцевал джигу.

Множество подобных историй рассказывала Екатерина Фёдоровна молодому гимназисту, читавшему ей свои юношеские стихи. Гостеприимная хозяйка сама писала и стихи, и рассказы, а ещё переводила «Фауста» Гёте (причём белым стихом, для точности), который был её настольной книгой. Редко бывая в Коктебеле, она жила в Москве, в Зачатьевском переулке, «и окно её выходило на задворки Румянцевского музея. Из окон большой светлой комнаты, служившей ей мастерской, был виден сзади силуэт прекрасного многострунного здания Пашкова дома. А кругом в... комнате стояло много её этюдов крымских роз, написанных в звонких и светлых тонах». Возможно, она тосковала по Крыму, по Коктебелю, где у её мужа была уже другая семья. Е. Ф. Юнге, Н. В. Досекин, К. А. Коровин... «Для меня, выросшего исключительно в средних кругах либеральной интеллигенции, – пишет Волошин, – все эти разговоры и суждения художников были новостью и решительным сдвигом всего мирозерцания».

Но, наезжая в Москву, Волошин уже скучает по Крыму, без которого его душевный мир неполон. Думы поэта постоянно обращены к местам, ставшим родными.

Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии тёмная страна,
Заклочена и преображена.

Макс занимает одну из комнат небольшого домика на Дурантевской улице в Феодосии. Дом принадлежит бабушке Александры Михайловны Петровой – Марии Леонардовне Рафанович. Окна комнаты выходят в заросший зеленью двор. Напротив – увитые диким виноградом деревянные ворота. Во дворе – экзотические айлантусы и недействующий каменный колодец. В комнате – зеленоватая полутьма, на стенах – окантованные фотографии античных статуй. Волошин уже не одинок и не испытывает нужды, отрешившись от всего мира, бормотать себе под нос вирши. Как правило, рядом с ним юноша «маленького роста, с огромным лбом боклевского склада, очень серьёзный, очень рассеянный, очень преисполненный чувством долга», Александр Пешковский. Или – молодая женщина, «с очень серьёзным, озабоченным и суровым лицом», правда, охотно отзывающимся на шутку. Она немного напоминает Афины-Палладу: «опущенный вперёд лоб, правильные черты продолговатого лица, на котором угадывался шлем, тёмные волосы, серьёзные губы». Это Александра Петрова. Трое молодых людей явно испытывают взаимную симпатию и нуждаются друг в друге. Они много беседуют, читают стихи, сочиняют шуточные экспромты, в которых главные персонажи – фиалочка и два влюблённых в неё репейника. Александр и Александра обожают Бетховена, играют его попеременно, иногда в четыре руки. С Пешковским поэт сближается всё больше и больше. Ещё бы: ведь это «страшный оригинал... очень умён, очень симпатичен, а главное, обладает замечательно мягким, добрым характером». Правда, бывают и шероховатости: отношения Макса с Петровой «перепутаны с отношениями Пешковского, и она усугубляла эту путаницу, т.к. переносила на одного разные сложные психологические результаты, получившиеся из разговоров с другим. Обижалась на Пешковского за мои парадоксы и мысли». При всех своих достоинствах Александра Михайловна, будучи старой девицей, отличалась мнительностью и взрывоопасным характером. Но это ничего.

От той счастливой поры в памяти Волошина останутся весенние прогулки на мыс Святого Ильи и в Кизильник в сопровождении Петровой, которая посвящает его в «трагический смысл Киммерийского пейзажа». Они собирают скудные образчики восточнокрымской флоры: фиалки, цветы горного терна, но обретают нечто большее. Неказистые веточки, горные цветочки вызывают в воображении поэта «скромное весеннее зарождение цветочного орнамента на серых камнях и стенах высокого средневековья, ещё не знающего пышного и показного тонкого орнамента Ренессанса». Эти прогулки с Александрой Михайловной, в ходе которых преображался зримый окружающий мир, были, по словам Волошина, «истинным прологом» к его «постепенному развитию в искусстве». Поэт был хорошо знаком и с пятью младшими братьями Петровой, «резкими, грубоватыми, талантливыми», выгнанными – очевидно, за поведение – из гимназии. Все они были в отца, который воспринимался как «маленький феодосийский Леонардо да Винчи – и наружностью, и общественным положением, и широтой и разнообразием интересов». Михаил Митрофанович Петров был полковником пограничной стражи, служил в Средней Азии.

Вместе с Пешковским Волошин намеревается издавать «художественно-литературный и научно-популярный журнал» под названием «Слово». Во вступительной заметке он формулирует задачу журнала: «дать умственный толчок всей гимназии (причём имелось в виду захватить и женскую гимназию)». Помимо стихов, Макс планирует поместить там статью под названием «Злое начало в человеке», Пешковского интересует другая тема: «Современный еврей в психологическом отношении». Да, это уже не полудетские игры в

репейников и фиалочку. Это серьёзно и актуально. Правда, издательские начинания друзей не увенчались успехом.

Заканчивалась гимназическая юность поэта, пока ещё безоблачная, радостная пора. Прогулки с товарищами по вечернему приморскому бульвару, где летом играл оркестр, полудетские влюблённости, застенчивость в отношениях с прекрасным полом, представительницы которого и сами проявляли к необычному юноше повышенный интерес: «Поэт... скажите какой-нибудь экспромт». – «Какие хорошие стихи у вас! В них даже смысл есть!» Одна из гимназисток дарит Максиму своё фото с надписью: «Знаменитому поэту». Парадоксальность волошинского мышления уже проявляется в гимназических сочинениях, от которых учитель Ю. А. Галабутский «иногда приходил в отчаяние и возвращал... тетрадку со словами: „Как фельетон это очень хорошо, но как гимназическое сочинение это настолько выпадает из всяких рамок, что нельзя это оценить никакой отметкой“».

Макс увлекается политэкономией, греческой философией и историей. На занятиях по греческому языку переводит Платона. Но удовлетворения от пребывания в гимназии как не было, так и нет. Половина дня «пропадает совершенно без пользы... потому что на уроках только сидишь да хлопаешь глазами, да томишься, а слушать решительно нечего... На Законе Божиим я обыкновенно читаю газеты, потому что поп давно махнул на меня рукой...» (из письма к матери от 21 февраля 1896 года). Волошин теперь уже сам занимается с учениками и продолжает клясть гимназию: она «буквально убивает всё человеческое, – пишет он Е. С. Ляминой 8 ноября 1896 года, – она... приучает к лени, приучает бессмысленно исполнять никому никогда и ни для чего ненужную работу... Право, одна гимназия виновата в том, что наша молодёжь так бесцельна и так мало интересуется окружающим».

Между тем в общественной жизни идёт брожение, захватывающее и молодёжь; распространяются революционные идеи. Веяния времени коснулись и феодосийской гимназии. Новый директор мужской гимназии В. Ф. Гролик закручивает гайки «со всем педантизмом и исполнительностью казённого преподавателя». Вводится чуть ли не «военный строй», классы делятся на взводы и отделения. Классные наставники проводят соответствующие беседы с учащимися, грозят суровыми характеристиками, которые могли бы перечеркнуть радужное университетское будущее. Заканчивающий гимназию Волошин, всегда отличавшийся смелостью суждений, был в этом отношении у начальства не на лучшем счету. «Моя благонадёжность, – пишет он матери, – по-видимому, находилась у гимназического начальства в некотором подозрении»: поэту устраивают настоящие допросы. Особенно усердствует С. А. Чураев, латинист, инспектор гимназии.

Впрочем, подобные обстоятельства не выбивают Макса из колеи. Он по-прежнему много пишет, значительно прибавляя в словесном мастерстве, что впоследствии позволит Екатерине Федоровне Юнге заметить: «А какие вы писали хорошие стихи, когда были гимназистом». Волошин пробует силы и как переводчик: берётся за Гейне, Уланда, Фрейлиграта – на раннем этапе его влечёт немецкая поэзия с романтическим уклоном. Уже тогда дала о себе знать предрасположенность юноши к мистификациям: под видом перевода из Гейне он посылает матери своё собственное произведение и получает одобрительный отзыв (Елена Отгобальдовна не была в этом отношении профаном – сама переводила Гауптмана). Макс получает «Вестник иностранной литературы» (при этом не забывает просмотреть «Русские ведомости», «Вестник Европы» и «Политическую экономию»), увлекается «Беседами» Эразма Роттердамского и намерен в обозримом будущем «читать, прежде всего, историю философии».

Вообще книги остаются главной страстью поэта. В конце 1895 года он составляет перечень книг своей библиотеки, который включает в себя 220 названий. Среди них – собрания сочинений Н. Гоголя, Н. Добролюбова, А. Майкова, Л. Толстого, Д. Писарева, У. Шекспира, Д. Байрона, работы Ч. Дарвина, В. Ключевского, М. Нордау, Д. С. Милля, П. Ж. Прудона, В. Соловьёва, Н. Стороженко, «История цивилизации» Г. Бокля и др. 8 ноября 1896 года Макс пишет своей кузине Лёле – Елене Сергеевне Ляминой: «У меня

полный шкаф самых новых, самых интересных, наполовину ещё не разрезанных книг, каждый месяц я себе выписываю ещё новые – и мне их некогда читать... Приходится сидеть по 3, по 4 часа со своим учеником».

А вот – темы сочинений, которые пишет Волошин, используя свою начитанность: «Представители старого и нового поколения по комедии Грибоедова „Горе от ума“», «Поэт и природа», «Разбор стихотворения Державина „На смерть князя Мещерского“ со стороны языка», «Изобразительность слова в стихах Пушкина», «Влияние воспитания на человека (по литературным типам)», «О поэте нового времени». Сочинение по истории называлось «О развитии и направлении греческой колонизации». Юный оригинал по-прежнему получает дружеские выволочки от учителя Галабутского. Так, например, работая над сочинением о «воспитании», поэт вознамерился «объять всю русскую жизнь в главнейших литературных типах»; насчитал их не менее тридцати и, «конечно, ушёл далеко от темы». Учитель охарактеризовал этот опус как «сатирическо-обличительную статью» и советовал «таких сочинений больше не писать, потому что если бы оно попало на глаза начальству», то сие обстоятельство всем бы «очень повредило». Это сообщалось в письме к матери от 22 декабря 1896 года. Примерно к этому же времени относится знакомство Макса с Ниной Александровной Айвазовской, которая позднее в своих воспоминаниях о Волошине отметит: «Он всех удивлял своими редкими способностями и оригинальностью своего мышления. Вокруг него группировался целый кружок молодёжи, его почитателей... где очень приятно было проводить время в научных беседах и спорах». Как видим, уже тогда, в эпоху гимназической юности, формировалась личность Волошина – эрудита, парадоксалиста, человека самокритичного, не особо падкого на комплименты: «Феодосийские похвалы всегда приятно щекотали моё самолюбие, но я никогда не был настолько глуп, чтобы поверить всему тому, что мне говорили»; а уж тем более – о нём. Впрочем, это уже другая история.

Какое-то время Волошин живёт вместе с Пешковским на квартире преподавателя латыни и истории Андрея Васильевича Грищенко. В соседней комнате обитает ещё один гимназист, Георгий (Жорж) Кржижевский. В этом же доме квартирует офицер, некто Лебедев, который периодически бьёт своего денщика. На чуткие ребячьи души это производит очень болезненное впечатление; плач обиженного, униженного человека не оставляет их равнодушными. 27 апреля 1897 года в записной книжке Волошина появляются заметки: «Мы были сильно возмущены. „Собственно, нам бы следовало донести полковому командиру. Но неловко гимназистам, да и нельзя“, – сказал Саша. „По-моему, следует ему сделать намёк на это за обедом. А потом я расскажу обо всём Андрею Васильевичу“, – заметил Жорж. Меня этот факт ужасно возмутил. Вообще, я замечал за собой, что если мне приходится слышать о каком-нибудь унижении человеческой личности, то в груди у меня что-то так и подымается. Но это не есть альтруизм, потому что для того, чтобы сознать всю гадость подобного поступка, мне необходимо поставить себя на место страдающего субъекта и тогда я только и возмущаюсь искренно». Как много открывает для нас этот психологический экскурс... И насколько понятнее становится деятельность Волошина-гуманиста в период российского лихолетья. Правда, описанный здесь инцидент ничем не завершился. «На Андрея Васильевича сообщение об этом факте не произвело впечатления, и он сказал Жоржу, что это и раньше известно было. Я, по обыкновению зарвавшись, сказал потом Саше, что поражаюсь, как в таком случае Кадыгроб (подполковник, начальник конвойной команды, и его жена. – С. П.) держали его на квартире. Этот спор прекратило то обстоятельство, что пора было идти в гимназию на молебен». Но это ещё не всё. Случившееся вызывает у Волошина потребность к теоретическому обобщению. Поэтому «разговор перешёл на „Оправдание добра“ В. Соловьёва», на возможность компромиссов. И, наконец, последний штрих. На другой день Волошин столкнулся в коридоре с офицером Лебедевым, и тот заговорил с ним как ни в чём не бывало: «...он мне так мило пожелал спокойной ночи, что язык не повернулся что-нибудь сказать о вчерашнем мордобитии». Более того: Макс «с большим чувством пожал ему руку и

совершенно искренне и дружелюбно пожелал ему счастливого пути. Чёрт знает что такое! У меня никогда нет силы воли противостоять тону голоса. Тон оказывает на меня самое сильное влияние. Стоит только человеку, на которого я за минуту перед тем метал громы негодования, заговорить со мной дружеским тоном, – и вся злоба моя моментально исчезает и сменяется самой нежной симпатией». Показательная черта характера Макса Волошина, который всегда будет «сглаживать углы», умиротворять противников, прощать преступников и молиться за палачей... Рассуждения же о тоне заставляют вспомнить Макса-психофолога, который будет пытаться по голосам поэтов определить их творческую индивидуальность...

Но юный Волошин и сам – прежде всего поэт. Поэт и, конечно, художник. После ощущения своеобразного «катарсиса» в истории с Лебедевым он записывает в дневнике: «Какая ночь! Я только что стоял на балконе. Свежий морской ветерок, густая лунная тень от дома на тротуаре, белесоватые полутона деревьев, перспектива улицы, сливающаяся вдали в одно неясное пятно, лёгкий силуэт судна у берега и тихие звуки засыпающего города... Какое-то странное полугрустное, полумечтательное и очень хорошее настроение. Все чувства и мысли приобретают особенную мягкость и гармоничность, тоже переходят в полутона. Стремление к чему-то хорошему, мечты о прошлом и о будущем, лёгкий трепет шевельнувшегося ветра и беспричинные слёзы, по-чему-то подступающие к глазам...» Импрессионистические зарисовки состояний души. Ощущение восторга и гармонического единения с миром. И как не вовремя всё это обрывается. «Отчего ты не занимаешься? – вопрошает неизвестно откуда взявшийся Жорж. – Ты сегодня ведь почти ничего не делал. Что ты думаешь?» Вот такое явление человека из мира прозы: возвращать поэзию в душе – значит ничего не делать. Вот если бы занимался алгеброй...

На Волошина нередко в эти месяцы нападает тоска. Возвращение домой, на квартиру, он сравнивает с возвращением в казарму. Очевидно, это связано с тем, что Жорж Кржижевский, с которым Макс не всегда находил общий язык, подселился в их с Пешковским комнату. «Жить втроём, как мы теперь, это уже казарма. Я находил себя стеснённым на той квартире, когда мы жили в комнате, отдельной от Жоржа, а теперь я чувствую себя буквально скованным. Я теперь не могу никогда ни одного слова свободно перемолвить с Сашей».

Однако всему приходит свой срок. В мае 1897 года наступает время выпускных экзаменов. На письменном экзамене по русскому языку была предложена весьма актуальная для Макса тема: «Влияние поэта на общество». Волошин, конечно же, «разобрал поэта как голос общественной совести» и определил все «стадии общественного значения поэта: поэт – пророк, поэт – жрец, поэт – национально-эпический певец, поэт – певец-трубадур и, наконец, поэт – писатель». А чуть позже происходит неприятная история с Ю. А. Галабутским, который, отстаивая своё достоинство, отказался, подобно другим учителям, дать унижительную расписку в том, что он «не будет брать взяток и писать доносов», что привело к серьёзному конфликту с директором Гролихом и поставило под удар дальнейшую карьеру преподавателя-слависта. К тому же Макс узнаёт, что его товарищу гимназисту-еврею Исару Спитковскому собираются выставить в аттестат четвёрку за поведение, что автоматически исключит возможность его поступления в университет.

И тут уже проявляется ещё одна, неизбывная, ипостась Волошина – альтруиста, выступающего в защиту ближнего. Он обращается за помощью к дочери Айвазовского, Александре Ивановне Лампси, та обещает походатайствовать перед отцом и губернатором, а вскоре поэт получает приглашение Айвазовского посетить его с кем-нибудь из товарищей. 19 мая Волошин с Пешковским прибыли к художнику в Шах-Махай, где были приглашены за стол и имели с мэтром весьма характерный разговор:

– Я вас пригласил, господа, чтобы поговорить... относительно последней истории в вашей гимназии, то есть об удалении этого учителя... как его?... Гала... Галабутского... Так я слышал, что у вас какие-то волнения там...

– Волнений между учащимися нет: вы неправильно поняли. Александра Ивановна

употребила в письме слово «волнения» в том смысле, что гимназисты очень огорчены отставкой лучшего и любимейшего учителя.

– Да... Так вот, я хотел предупредить через вас других учеников, чтобы они не устраивали никаких демонстраций против директора, потому что это может только повредить Галабутскому. Я же лично... не могу ничего сделать, так как я недавно беспокоил министра по поводу постройки нового здания гимназии... Галабутский поступил, конечно, благородно, но ведь другие же подписали эту бумагу, так следовало и ему. Зачем непременно выделяться?.. Придётся уже примириться с его удалением. Я вообще... я держусь взглядов... я собственно не...

Айвазовский вдруг смутился и запутался в словах, ожидая, очевидно, подсказки. Но гимназисты молчали. Волошину было непонятно, за кого же великий художник хочет себя в конечном итоге выдать – за консерватора или либерала. Тем временем Айвазовский всё же нашёлся:

– Я не сторонник деспотизма и сознаю, что у нас в России совершается много неприятных вещей. Но что ж: сознаёшь это, а нужно всё-таки примиряться. Ведь вот в Академии художеств был совершенно такой же случай с Куинджи...

Далее последовал рассказ о Куинджи, который, надо полагать, слиберальничал, и ни к чему хорошему это, естественно, не привело, после чего Пешковский спросил осторожного мариниста о деле Спитковского. Айвазовский встрепенулся:

– О, это дело я улажу, это я сделаю.

Потом, вспоминает Волошин, «он ушёл, оставив нас завтракать. Было ясно, что он предполагал, что в гимназии чуть не бунт, и положение его было довольно комично, когда он узнал, что всё спокойно. Когда мы позавтракали, он позвал нас к себе в студию». Вот такой неоднозначной получилась встреча Волошина с крупнейшим художником-маринистом. Что же касается Галабутского, то вместо «долгожданного перевода» в Одессу последует его переезд в Керчь (Волошин получит от него фото с надписью «Любимому ученику»); Спитковский же окажется студентом Киевского университета.

6 июня 1897 года Максимилиан Волошин получает аттестат зрелости, в котором зафиксированы следующие результаты: Закон Божий – 4, русский язык и словесность – 5, логика – 4, латинский язык – 4, греческий язык – 3, математика – 4, физика – 4, история – 5, география – 4, немецкий язык – 3, французский язык – прочерк. Ни шатко ни валко. И не так беспроблемно, как было в московской гимназии. Всё идёт к тому, что продолжать обучение Макс будет в университете на филологическом отделении. Волошин действительно сдаёт документы в Московский университет, но – очевидно, в память об отце – на юридический факультет. 1 августа он становится студентом.

ПУСТОТА И БЕСПЛОДНОЕ ИСКАНИЕ

Мы ищем лишь удобства вычислений,
А в сущности не знаем ничего...

Космос

Приехав 23 августа в Москву, Волошин остановился у бабушки, Надежды Григорьевны Глазер (Смоленский рынок, Проточный переулок). Занятия ещё не начались, так что можно было побродить по столице, сходить в театр: «Лес» Островского в театре Корша, «Ревизор» Гоголя в Малом (выбор спектаклей, надо полагать, неслучаен – Макс участвовал в гимназических постановках обеих пьес). Пустое здание университета произвело на студента «унылое и мрачное впечатление: полутёмные, мрачные, холодные коридоры с каменными полами, в которых гулко отдаётся каждый шаг...». Вообще ему поначалу грустно и одиноко в Москве. Но вскоре приезжает Пешковский, поступивший на филологический факультет и